

низации, но вовсе не предназначенный для «высоких целей», которые преследуют «избранные народы», принадлежащие к «привилегированной» расе,—в этих салонах ненавидели Пушкина. Социологи с достаточным основанием разъясняют нам те классовые противоречия, какие разделяли Пушкина и враждебный ему круг привилегированных. И не приходится, конечно, сомневаться в диалектике этой вражды. Идея «избранных народов» прикрывала стыдливо самый грубый классовый интерес, но этим социальным противоречиям соответствовали противоречия культурные.

«Культура» привилегированного помещичьего общества в тридцатых годах XIX века жила ненавистью к народам, ненавистью к революции, ненавистью к независимой мысли. Патриоты и националисты делали космополитами при первом громе революционного восстания и спешили объединиться для борьбы с мятежным народом, каков бы он ни был и где бы ни строилась в это время баррикада.

Представители опустошенных, вырождающихся культур ненавидят те живые, органические культуры, которые возникают в истории вместе с пробуждающейся народной жизнью. Пушкин был ненавистен, потому что он был выразителем той новой и цельной

культуры, которая заявляла о себе, несмотря на террор николаевской монархии.

Пушкин был живым укором двухсотлетней петербургской истории. Фактом своего бытия он доказывал, что, несмотря на все старания романовской династии, которая являлась орудием класса помещиков-крепостников, новые социальные силы готовы заявить о своих исторических правах.

Не даром он писал из Михайловского, что Стенька Разин — «единственное поэтическое лицо русской истории». И как любопытно, что в 1826 году, только-что «помирившись» с правительством, он посылает царю для цензуры «Песни о Стеньке Разине», на что последовал назидательный ответ о неприличии печатать подобные произведения, несмотря на их поэтическое достоинство. И в тридцатых годах, вопреки своей философии истории и своим тогдашним политическим взглядам, он не может скрыть своих известных симпатий к личности Пугачева, чувствуя в нем народную стихию, столь близкую ему, поэту.

Да, по сути дела, Пушкин был народный поэт. Вот почему с таким злобным страхом смотрели жандармы Николая I на тысячи паломников, шедших поклониться гробу поэта.

6. НОВОЕ О ПУШКИНЕ В КИШИНЕВЕ

(По дневнику кн. П. И. Долгорукова)

М. Цявловский

«Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство» — доносил по начальству из Кишинева в 1821 году секретный агент. Но ни в письмах современников, ни в воспоминаниях о поэте мы не имеем более или менее точных сведений, как же «ругал публично даже и правительство» ссыльный Пушкин. Перлюстрация писем и цензура служили, казалось, прочной гарантией, что все это умрет со свидетелями жизни поэта. Как он

был несдержан на язык, и на какие резкие выходы был способен, дает ясное представление рассказ тесно общавшегося с Пушкиным в Кишиневе И. П. Липранди.

По свидетельству последнего Пушкин на обеде у бригадного генерала Д. Н. Болховского в присутствии не менее десяти человек предложил выпить шампанское за «11-е марта», день убийства Павла I, одним из участников которого был генерал. Рассказ этот в свое время был изъят из воспоминаний

Липранди и опубликован нами лишь в выходящем на-днях первом томе «Летописей Государственного литературного музея».

Этим же музеем, с особенным рвением собирающим материалы по Пушкину, недавно приобретен документ совершенно исключительного значения — дневник кн. Павла Ивановича Долгорукова (1787—1845)¹⁾. Сын довольно известного поэта, этот Долгоруков, по его словам, «наскучив жить двенадцать лет в столице в ничтожных канцелярских трудах», решил уехать в Кишинев, на службу в канцелярию бессарабского наместника И. Н. Инзова. Приехал сюда Долгоруков 1 августа 1821 года, а с 1 января 1822 г. «положил записывать важнейшие происшествия в виде повседневною журнала».

«Человек добрый, довольно скучный», по словам мемуариста Вигеля, Долгоруков с аккуратностью исполнительного чиновника вел этот журнал в течение всего года, обстоятельно рассказывая о фактах своей однообразной, бесцветной жизни, часто сопровождая эти рассказы наблюдениями над окружающей его кишиневской действительностью. Даже если бы среди записей дневника, размер которого не менее шести печатных листов, не было двадцати трех записей о Пушкине, дневник Долгорукова представлял значительный бытовой интерес, давая картину жизни провинциального центра годов аракчеевщины и тайных политических обществ. К таким записям относится, например, жуткое описание наказания кнутом солдат, которое находим в дневнике Долгорукова под 20 февраля:

«У Акерманского в'езда против манежа, в котором Орлов давал нам завтрак в первый день нового года, сегодня происходила торговая казнь. Секли кнутом четырех солдат Камчатского полка. Они жаловались Орлову на своего капитана, мучившего всю роту нещадно, и сами, наконец, уставши терпеть его тиранство, вырвали прутья,

коиими он собирался наказывать их товарищей. Вот, как говорят, вся их вина, названная возмущением и буйством. Орлов, от'езжая в Киев, отдал в приказе по своей дивизии о предании к суду нескольких офицеров за жестокое с солдатами обращение. В отсутствие его Сабанеев, в пику ли ему, или в намерении жестокими и сильными примерами удержать войско в должном повиновении, решил участь подсудимых солдат. При собрании всего находящегося налицо здесь войска, тысяч около двух, прочитали преступникам при звуке труб и литавр сентенцию военную, вследствие коей дали первому 81, а прочим трем по 71 удару. Стечение народа было большое, — многие дамы не стыдились смотреть из своих колясок. — И меня привлекло любопытство, но едва имел я столько духу, чтоб несколько раз взглянуть издали на экзекуцию. Одно приговoreние ужасно, и если подумать, что иной подвергается такой казни по оговору или ослеплению судей, то невольно содрогнешься о лютости человекoв. Имеющие власть приговаривать к смерти и истязанию должны бы быть люди отличного ума и нравственности, а не всякая сволочь, какая у нас сидит в Уголовной Палате; да и аудиторы, что иное суть, как секретари полковые, раболепствующие командирам и не имеющие ни души, ни голоса. — При мне сняли с плахи первого солдата, едва дышащего¹⁾, и хотели накрыть военной шинелью. Всякой понесший уже наказание преступник вселяет сожаление, но полковой командир Соловкин закричал: «Смерть военная, не надобно шинели, — пусть в одной везут рубахе!». На другом конце солдат простой не мог быть равнодушным зрителем. Он упал, и его вынесли за фронт».

Но неизмеримо большее значение, чем документ по истории быта, имеет дневник Долгорукова как материал для биографии Пушкина.

С младшим братом автора дневника, Дмитрием Ивановичем, Пушкин был знаком в Петербурге, так как вместе с

¹⁾ Полный текст дневника с необходимыми комментариями в настоящее время готовится нами к печати

¹⁾ «Этот и другие его товарищи через двое суток померли».

ним состоял членом литературно-политического общества «Зеленая Лампа». В письме к С. И. Тургеневу от 21 августа 1821 года из Кишинева Пушкин жаловался: «Долгорукой меня забыл». Весьма вероятно, еще в Петербурге познакомился Пушкин и с Павлом Ивановичем, но особенной близости между ними не могло быть ни в Петербурге, ни в Кишиневе: слишком разные они были люди. Ведя уединенный образ жизни, Долгоруков в Кишиневе встречался с поэтом преимущественно за обеденным столом у бессарабского наместника, генерала И. Н. Инзова, под надзором которого находился поэт. Из записей Долгорукова о Пушкине наибольший интерес и представляют те, в которых он передает застольные речи пламенно негодующего Пушкина. Ценность этих записей в безусловной их достоверности. Сделанные под непосредственным впечатлением виденного и слышанного, они фиксируют эти речи с протокольной точностью. Первая запись о Пушкине, датированная 11 января, такого содержания:

«Обедал у Инзова. Во время стола слушали рассказы Пушкина, который не умолкал ни на минуту, пил беспрестанно вино и после стола дурачил нашего экзекутора. — Жаль молодого человека. Он с дарованиями; но рассудок, кажется, никогда не будет иметь приличного ему места в сей пылкой головошке, а нравственности и требовать нечего. Может ли человек, отвергающий правила веры и общественного порядка, быть истинно добродетелен? — не думаю. Пушкин прислан сюда, просто сказать, жить под присмотром. Он перестал писать стихи, — но этого мало. Ему надобно было переделать себя и в отношении к осторожности, внушаемой настоящим положением, а это усилие, встречая беспрестанной отпор со стороны его свойства, живого и пылкого, едва ли когда ему, разве токмо по прошествии молодости, удастся. Вместо того, чтобы придти в себя и восчувствовать, сколь мало правила, им принятые, терпимы могут быть в обществе, он всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать,

что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимой разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку».

Характеристике этой при всей ее морализирующей благонамеренности, изложенной к тому же слогом канцелярских бумаг, нельзя отказать в известной меткости. Связанный словом, данным Карамзину, «два года ничего не писать противу правительства», Пушкин с тем большим жаром возмещал это лишение поэтического творчества своими бесстрашными, зажигательными речами.

К чиновникам канцелярии Инзова, людям во всех отношениях ничтожным, Пушкин относился с нескрываемым презрением. Особенно нетерпим им был старший член в управлении колониями, статский советник Иван Николаевич Ланов. По свидетельству И. П. Липранди, Ланову «было за 65 лет, среднего роста, плотный, с большим брюхом, лысый, с широким красным лицом, на котором изображалось самодовольствие». Под 28 января в дневнике Долгорукова имеется такая запись о столкновении Пушкина с Лановым: «... у Ланова с Пушкиным произошла за столом в присутствии наместника ссора, и Пушкин вызвал Ланова на поединок, но тому было не до пистолетов. Он хотя и принял предложение и звал Пушкина к себе на квартиру, но приготовил несколько солдат, чтобы его высечь розгами. Это проведаль Пушкин и написал эпиграмму. Наместник грозил запереть его: «Вы это можете сделать, — отвечал Пушкин, — но я и там себя заставляю уважать». Долгоруков записал и эпиграмму на Ланова, которая «пошла по рукам»:

Бранись, ворчи, болван болванов;
Ты не дожدهшься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабе гузно так похожа,
Что только просит киселей.

Эпиграмма эта не новость. Ее привел в своих воспоминаниях А. М. Фадеев (первоначально напечатана в «Русском архиве» за 1891 г., № 3,

стр. 393), но ни один из редакторов стихотворений Пушкина не решался вводить эпиграмму в собрания сочинений поэта, считая свидетельство Фадеева недостаточно авторитетным. Запись Долгорукова подтверждает показание Фадеева, и принадлежность стихотворения Пушкину теперь не подлежит никакому сомнению.

Под 15 апреля Долгоруков записывает: «Пушкин рассуждал за столом о нравственности нашего века, — отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства, — говорил с жаром, но ничего не выпустил нового. Мы все слушали со вниманием...».

Под 30 апреля записано: «Пушкин и Эйсмонт спорили за столом насчет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, — и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который, хотя честен, но не имеет на этот счет одинаких с ним правил. Эйсмонт ловил Пушкина на словах, но не мог выдержать с ним равенства в состязании. Что принадлежит до наместника, то он слушал и принимался также опровергать

его, но слабо и более шутками, нежели доводами сильными и убедительными.— Я не осуждаю с своей стороны таковых диспутов, соглашусь даже и в том, что многие замечания Пушкина справедливы, да и большая часть благомыслящих и просвещенных людей молча сознаются, что деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам, но не одобряю привычки трактовать о таких предметах на русском языке. — Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно, а за стульями слушают и внимают соблазнительным мыслям и суждениям...».

В этой замечательной записи, дающей нам живой образ Пушкина, пламенно негодующего на рабство народа, мы узнаем великого поэта, автора знаменитой «Деревни», произведения, так красноречиво выразившего чаяния лучших людей того времени.

Наконец, революционные события в Европе вызвали такие слова Пушкина (27 мая): «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский тоже — нетрудно расщечь, чья сторона возьмет верх».

Только в наши дни сбывается это пророчество великого русского поэта.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7